ском отделении больницы. Когда и кому продала она свой домик возле тупика или его сломали, расширяя маневровую площадь станции, Леонид не знал, он в ту пору работал в Хайловске, увлекся службой, спортом, женщиной, да и позабыл про тетю Граню.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Однажды, это уж после возвращения из Хайловска, Сошнин дежурил с нарядом милиции за железнодорожным мостом, где шло массовое гулянье по случаю Дня железнодорожника. Скошенные загородные луга, пожелтевшие ивняки, побагровелые черемухи да кустарники, уютно опушившие старицу Вейки, во дни гуляний, или, как их тут именовали — «питников» (надо понимать — пикников), загаживали, прибрежные кустарники, ближние деревья сжигали в кострах. Иногда, от возбуждения мысли, подпаливали стога сена и радовались большому пламени, разбрасывали банки, тряпки, набивали стекла, сорили бумагой, обертками фольги, полиэтилена — привычные картины культурно-массового разгула на «лоне природы».

Дежурство выдалось не очень хлопотное. Против других веселящихся отрядов, скажем, металлургов или шахтеров, железнодорожники, издавна знающие высокую себе цену, вели себя степенней, гуляли семейно, если кто задирался из захожих, помогали его угомонить и спрятать от милиции, чтоб не увезли в вытрезвитель.

Глядь-поглядь, от ближнего озера, из кустов идет женщина в драном ситцевом платье, косынку за угол по отаве тащит, волосья у нее сбиты, растрепаны, чулки упали на щиколотки, парусиновые туфли в грязи, да и сама женщина, чем-то очень и очень знакомая, вся в зеленовато-грязной тине.

— Тетя Граня! — бросился навстречу женщине Леонид. — Тетя Граня? Что с тобой?

Тетя Граня рухнула наземь, обхватила Леонида за сапоги:

— Ой, срам! Ой, срам! Ой, срам-то какой!..

— Да что такое? Что? — уже догадываясь, в чем дело, но не желая этому верить, тряс тетю Граню Сошнин.

Тетя Граня села на отаву, огляделась, подобрала платье на груди, потянула чулок на колено и, глядя в сторону, уже без рева, с давним согласием на страдание, тускло произнесла:

— Да вот... снасиловали за что-то...

— Кто? Где? — оторопело, шепотом — сломался, куда-то делся голос, — переспрашивал Сошнин. — Кто? Где? — И закачался, застонал, сорвался, побежал к кустам, на бегу расстегивая кобуру. — Перестр-р-реля-а-а-аю-у-у!

Напарник по патрулю догнал Леонида, с трудом выдрал из его руки пистолет, который он никак не мог взвести срывающимися пальцами.

— Ты что? Ты что-о-о?!

Четверо молодцов спали накрест в размичканной грязи заросшей старицы, среди ломаных и растоптанных кустов смородины, на которых чернели недосыпавшиеся в затени спелые ягоды, так похожие на глаза тети Грани. Втоптанный в грязь, синел каемкой носовой платок тети Грани — она и тетя Лина еще с деревенской юности обвязывали платочки крючком, всегда одинаковой, синенькой каемочкой.

Четверо молодцов не могли потом вспомнить, где были, с кем пили, что делали? Все четверо плакали в голос на следствии, просили их простить, все четверо рыдали, когда судья железнодорожного района Бекетова — справедливая баба, особенно суровая к насильникам и грабителям, потому как под оккупацией в Белоруссии еще дитем насмотрелась и натерпелась от разгула иноземных насильников и грабителей, — ввалила троим сладострастникам по восемь лет строгого режима, четвертый все свалил на собутыльников и сумел ускользнуть от возмездия.

После суда тетя Граня куда-то запропала, видно, и на улицу-то стыдилась выходить

Леонид отыскал ее в больнице.

Живет в сторожке. Беленько тут, уютно, как в той незабвенной стрелочной будке. Посуда, чайничек, занавески, цветок «ванька мокрый» алел на окне, геранька догорала. Не пригласила тетя Граня пройти Леонида к столу, точнее, к большой тумбочке, сидела, поджав губы, глядя в пол, бледная, осунувшаяся, ладошки меж колен.

— Неладно мы с тобой, Леонид, сделали, — наконец подняла она свои, не к месту и не к разу так ярко светящиеся глаза, и он подобрался, замер в себе — полным именем она называла его только в минуты строгого и непрощающего отчуждения, а так-то он всю жизнь для нее — Леня.

— Чего неладно?

— Молодые жизни погубили... Такие срока им не выдержать. Выдержат — уж седыми мушшынами сделаются... А у их, у двоих-то, у Генки и у Васьки, — дети... Один-от у Генки уж после суда народился...

— Те-е-отя Граня! Те-о-о-отя Граня! Они надругались над тобой... Над-ру-га-лись! Над сединами над твоими...

— Ну дак че теперь? Убыло меня? Ну, поревела бы... Обидно, конешно. Да разве мне привыкать? Чича, бывало, свалит в кочегарке... Ты извини, что про такое говорю. Ты уж большой. Милиционером служишь, всякого сраму по норки нахлебался и нанюхался небось... Чиче не дашься — физкультуру делает. Схватит лопату и ну меня вокруг кочегарки гонять... Эти поганцы... обмуслякали, в грязи изваляли... отстиралась бы...

И стали они избегать, бояться друг друга. Но как избежишь-то насовсем в таком городке, как Вейск? Здесь жизнь идет по кругу, по тесному. Задолго еще до того, как увидеть друг друга, они чувствовали неизбежность встречи. Внутри Леонида не то чтобы все обрывалось, в нем все скатывалось в одну кучу, в одно место, останавливалось под грудью, в тесном разложье, он еще задаль расплывался в улыбке и,

чувствуя ее неуместность и нелепость, не в силах был совладать со своим ртом, убрать улыбку с лица, сомкнуть губы — она была и защитной маской, и оправдательным документом, приклеенным к лицу, словно инвентарная печать, приляпанная ляписом на заду казенных подштанников. Поймав его взгляд, тетя Граня опускала глаза и бочком, бочком проскальзывала мимо, в сером старом железнодорожном берете, с невылинявшей отметкой ключа и молота, в старой железнодорожной шинели, в стоптанных башмаках. Все это, догадывался Леонид, тете Гране отдавали донашивать подружки и товарки, которые из больницы отправлялись туда, где не нужна форменная одежда — туда еще не проложены рельсы.

— Доброе утро! — хоть утром, хоть днем, хоть вечером роняла тетя Граня на ходу.

Сошнин чувствовал, что если б не природная деликатность, тетя Граня не поздоровалась бы с ним вовсе. И всякий раз, пришибленный, как гвоздь, по шляпку вбитый в тротуар, с резиновой улыбкой на лице, он хотел и не мог побежать следом за тетей Граней и кричать, кричать на весь народ: «Тетя Граня! Прости меня! Прости нас!..»

«Доброе утречко! Здоровеньки булы!» — вместо этого выдавал он шутливо, работая под Тарапуньку со Штепселем, ненавидя себя в те минуты и украинских неунывающих юмористов, всех эстрадных словоблудцев, весь юмор, всю сатиру, литературу, службу, свет белый и все на этом свете...

Он понимал, что среди прочих непостижимых вещей и явлений ему предстоит постигнуть малодоступную, до конца никем еще не понятую и никем не объясненную штуковину, так называемый русский характер, приближенно к литературе и возвышенно говоря, русскую душу... И начинать придется с самых близких людей; от которых он почему-то так незаметно отдалился, всех потерял: тетю Лину и тетю Граню, собственную жену с дочерью, друзей по училищу, приятелей по школе... И надо будет прежде всего себе доказать и выявить на белой бумаге, а на ней все видно, как в прозрачной ключевой воде, обнажиться до кожи, до неуклюжих мослаков, до тайных неприглядных мест, доскребаясь умишком до подсознания, которое, догадываться начал Сошнин, и движет творчеством, оно и есть его главный секрет. Как это трудно! И сколько мужества и силы надо, чтобы «мыслить и страдать», все время, всю жизнь, без перекура и отпуска, до последнего вздоха. Может быть, объяснит он в конце концов хотя бы самому себе: отчего русские люди извечно жалостливы к арестантам и зачастую равнодушны к себе, к соседу — инвалиду войны и труда? Готовы последний кусок отдать осужденному, костолому и кровопускателю, отобрать у милиции злостного, только что бушевавшего хулигана, коему заломили руки, и ненавидеть соквартиранта за то, что он забывает выключить свет в туалете, дойти в битве за свет до той степени неприязни, что могут не подать воды больному, не торкнуться в его комнату...

Вольно, куражливо, удобно живется преступнику средь такого добросердечного народа, и давно ему так в России живется.

Добрый молодец, двадцати двух лет от роду, откушав в молодежном кафе горячительного, пошел гулять по улице и заколол мимоходом трех человек. Сошнин патрулировал в тот день по Центральному району, попал на горячий след убийцы, погнался следом на дежурной машине, торопя шофера. Но молодец-мясник ни убегать, ни прятаться и не собирался — стоит себе у кинотеатра «Октябрь» и лижет мороженое — охлаждается после горячей работы. В спортивной курточке канареечного или, скорее, попугайного цвета, красные полосы на груди. «Кровь! — догадался Сошнин. — Руки вытер о куртку, нож под замочек на груди спрятал». Граждане шарахались, обходили измазавшего себя человеческой кровью «артиста». Он с презрительной усмешкой на устах долижет мороженое, культурно отдохнет — стаканчик уже в наклон, деревянной лопаточкой заскребает сласть — и по выбору или без выбора — как душа велит — зарежет еще кого-нибудь.

Спиной к улице на пестром железном перильце сидели два кореша и тоже питались мороженым. Сладкоежки о чем-то перевозбужденно переговаривались, хохотали, задирали прохожих, вязались к девчонкам, и по тому, как дрыгались куртки на спинах, катались бомбошки на спортивных шапочках, угадывалось, как они беспечно настроены. Мяснику уже все нипочем, брать его надо сразу намертво, ударить так, чтоб, падая, он ушибся затылком о стену: если начнешь крутить среди толпы — он или дружки его всадят нож в спину. На ходу выскочив из машины, Сошнин перепрыгнул через перила, оглушил о стену «кенаря», шофер за воротники опрокинул двух весельчаков с перилец, придавил к сточной канаве. Тут и помощь подоспела — поволокла милиция бандитов куда надо. Граждане в ропот, сгрудились, сбились в кучу, милицию в кольцо взяли, кроют почем зря, не давая обижать «бедных мальчиков». «Что делают! Что делают гады, а?!» — трясся в просторном пиджаке выветренный до костей человек, в бессилии стуча инвалидной тростью по тротуару: «Н-ну, легавые! Н-ну, милиция! Эко она нас бережет!..». «Е-это середь бела дня, середь народа! А попади к им туда-а...» «Такой мальчик! Кудрявый мальчик! А он его, зверюга, головой об стену...»

Сошнин «гер к носу», но потрясенный шофер, недавно работающий в милиции, не выдержал: «Попались бы вы этому кудрявому мальчику! Он бы вам запросто укоротил и языки, и жизнь...»

В отделении как раз красил стены давно уже вышедший на заслуженный отдых, но от нужды приработывающий к пенсии бывший командир отделения морских пехотинцев, переколовший ножом фашистов больше, чем его дед, поморский рыбак, острогою рыбы.

«За что ты убил людей, змееныш?» — усталым голосом спросил он «кенаря».

«А хари не понравились!» — беспечно улыбнулся тот ему в ответ.

Старый вояка не выдержал, схватил убийцу за горло, свалил на пол. Едва отобрали добра молодца, который вопил на целый квартал: «Бо-о-ольно! Не имеешь право! О-о-ой, отпусти! Отпусти-ы-ы!» — и потом невинно лупил глаза на следователя: «Неужели меня расстреляют? Неужели вышка?! Я ж не хотел...»

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

«Но все-все! На сегодня хватит!» — отмахнулся Сошнин от навязчивых и всегда в худую погоду длинных и мрачных воспоминаний. В предчувствии избяного тепла он поежился, передернул плечами, словно бы стряхивая мокро и прах от дум своих, погладил себя по лицу рукой и прибавил шагу. У него хотя и было в квартире паровое отопление, но плита тоже осталась от доисторических времен. Хорошее, доброе сооружение — плита. Он ее подтапливал дровишками, которые ему по старой дружбе осенями сваливал с телеги у дровяника Лавря-казак. «Сейчас растопим печку, супчику спроворим, чайку покрепче заварим — бог с ней, с житухой этой неловкой, с погодой гадкой, с проклятой болью в плече. Жизнь, она все-таки, в общем-то, ничего. В ней то клюет, то не клюет...» Сошнин улыбнулся, вновь увидев наяву дядю Пашу с метлой во дворе, с достоинством топающую домой лошадку Лаври-казака, даже мотивчик засвистел из фильма «Следствие ведут знатоки» и промурлыкал выразительнейший текст популярной не только среди милиции, но и среди гражданского населения песни: «Если что-то, где-то, почему-то, у кого-то...» — чем, видимо, и раздражил компанию из трех человек, расположившуюся в их доме, под лестницей, пить вино, поставив бутылку на отопительную батарею. «И что они все троицами-то? Чем объяснить активность этого числа?»

Из новых жилищ, со станции — в укромный уголок, под прелую лестницу старого доброго дома номер семь зачастили любители побеседовать. Свинячили под лестницей, блевали, дрались, иные и спали здесь, прижавшись к ржавой батарее, сочащейся тихим паром, отчего подгнил и подоконник, и пол под батареей. Одного из троих Сошнин вспомнил — бывший игрок футбольной команды «Локомотив», сперва местной, потом столичной. Когда столичный «Локомотив», потерпев крушение, ахнулся в первую лигу, земляк явился доигрывать спортивную карьеру в родном городе. Соседи, в первую голову бабка Тутышиха, ныли: «Леш, наведи ты порядок под лестницей. Разгони кирюшников. Житья нету!»

Но ему поднадоело на службе возиться со всякой швалью, устал он от нее, да и психовать, нарываться на нож или на драку не хотелось — донарывался. Однако все равно придется разгонять пьянчуг — народ требует. «Но на сегодня мне хватит впечатлений», — решил Леонид, да и вспомнились к месту слова знакомого тюремного парикмахера: «Усю шпану не переброешь». И когда, приподняв изуродованную ногу, опираясь на перила свободной рукой, с детства натренированно взлетел он сразу на пол-лестницы и услышал из-под лестницы: «Эй, ты, соловей! Хиль Эдуард! Кто здороваться будет?» — «Ничего не вижу, ничего не слышу», — продекламировал себе и, приволакивая ногу, двинулся дальше, выше, в жилье, в свой спасительный угол. Но едва сделал шаг или два, как услышал за собой погоню — старые ступени родного дома он различал по голосам, как пианист-виртуоз — свой редкостный рояль.

Ступени звучали напористо и расстроенно — услышал он ушами, почувствовал спиной, а спина у настоящего милиционера (должна быть, что у детдомовца, — очень чуткая и с «глазами».

Его обогнал и заступил дорогу домой парень с роскошной смоляной шевелюрой, в распахнутом полушубке с гуцульским орнаментом по подолу, бортам и обшлагам.

— Тебя спрашиваю, физкультурник: кто здороваться будет?

Кавалер в дубленке, с красными прожилками в вялых глазах — предосенняя ягода, от нехватки солнца плесневеющая в недозрелом виде, — переваливал во рту жвачку, локтем навалившись на перила. Лестница в доме номер семь рассчитана не на крестный ход, на малый и нежирный народ она рассчитана. Когда хоронили тетю Лину — поднимали гроб над изрезанными складниками перильцами так высоко, что покойница едва не чертила остреньким носом по прогнувшейся вагонке потолочного перекрытия. Леонид поморщился от боли в ноге, от душу рвущего видения, так некстати его настигающего.

— Здравствуйте, здравствуйте, орлы боевые! — согласно и даже чуть заискивающе произнес Сошнин, по практике ведая, что таким-то вот тоном как раз и не надо было разговаривать с воинственно настроенными гостями. Но так устала и ныла нога, так хотелось домой, остаться одному, поесть, полежать, подумать, может, плечо отпустит, может, душа перестанет скулить...

— Какие мы тебе орлы? — суровым взглядом уперся в него и выплюнул жвачку под лестницу парень. — Ты почему грубишь? — Он распахнул модную дубленку, сделался шире, разъемистей.

«Интересно, где он отхватил такой шабур? Вроде бы женский? Дорогой небось?» — не давая себе завестись, отвлекался Сошнин.

— А ну, сейчас же извинись, скотина! — выступил из-под лестницы футболист. — Совсем разбаловался! Людей не замечаешь!

За футболистом с блуждающей улыбкой стоял мужик не мужик, подросток не подросток, по лицу — старик, по фигурке — подросток. Матерью не доношенный, жизнью, детсадом и школой недоразвитый, но уже порочный, в голубом шарфике, и сам весь голубенький, бескровный, внешне совсем не похожий на только что вспомнившегося «кенаря» и все же чем-то неуловимо напоминающий того убийцу, — рыбьим ли прикусом губ, ощущением ли бездумной и оттого особенно страшной, мстительной власти. Он — по синюшному лицу и по синюшной стриженой голове — определил Сошнин, только что с «режима». Давно не вольничал, давно не пил недоносочек, захмелел раньше и

больше напарников. Барачного производства малый, плохо в детстве кормленный, слабосильный, но, судя по судачьему прикусу сморщенного широкого рта, до потери сознания психопаточный. За пазухой у него нож. Не переставая плыть в бескровной, рыбьей улыбке, он непроизвольно сунул одну руку в карман куртки, другой нервно, в предчувствии крови, теребил шарф. Самый это опасный тип среди трех вольных гуляк.

«Спокойно! — сказал себе Сошнин. — Спокойно! Дело пахнет кероси-и-ином...»

— Ну что ж, извините, парни, если чем-то вас прогневил.

— Что это за «ну что ж»? — Кавалер с бакенбардами, в гуцульском бабьем полушубке напоминал Сошнину обильным волосом, барственной усмешечкой избалованного харчем, публикой, танцорками певца из модернового варьете. Умственно и сексуально переразвитые девки бацали в том «варьете» в последней стадии одеяния — в колготках, — да и это связывало их творческие возможности, и, не будь суровых наших нравственных установок, они и это все поскидывали бы и еще выше задирали бы лосные, длинные ноги, изображая патриотический танец под названием: «Наш подарок БАМу». Певец же «мужественным» басом расслабленно завывал в лад их телодвижениям: «Ты-ы, м-мая мэл-ло-о-о-одия-а-а-а...»

С ног до головы излаженный под боготворимого среди недоумков солиста, кавалер на лестнице хотел острых ощущений, остальное все у него было для удовольствия жизни. За шикарной прической — оскорбительный плагиат с гусара-героя и поэта Давыдова; в модном полушубке с грязными орнаментами, в как бы понарошке мятых вельветовых штанах с вызывающе светящейся оловянной пуговицей почти на пупе, в засаленном мохеровом шарфике, в грязновато-алой водолазке, оттеняющей шею, покрытую как бы выветренной берестой — во всем, во всем уже была не то чтобы слишком ранняя, как говорил поэт, усталость, непромытость была, затасканность. «Вот с запущения лица все и начинается», — вспомнился начальник Хайловского РОВД, Алексей Демидович Ахлюстин, добрейшей души человек, неизвестно, когда, как и почему попавший на работу в милицию.

— Извиняйся как следует: четко, отрывисто, внятно!

«Испортить эту экзотическую харю, что ли? — подумал Сошнин. — В сетке бутылка с молоком, банка с компотом... Око за око, зуб за зуб, подлость на подлость, да? Да! Да! Однако далеко мы так зайдем... И молоко жалко на этакую погань тратить. И цыпушку жалко, она, бедная, и так воли не видела, не оформилось ее молодое инкубаторское тело до плотской жизни — и этакой-то невинной птичкой да по такой развратной роже!..»

Сошнину удалось отвлечься, он унял в себе занимающуюся дрожь, стоял вполоборота, чтоб парня видеть, если бросится, и тех, внизу, из поля зрения не выпускать, ждал, что будет дальше. Более других его занимал футболист: во-первых, ему за тридцать, пора, как говорится, и мужчиною стать; во-вторых, он должен знать Сошнина. Но футболист и отроду-то мало памятлив, по случаю возвращения в родную команду запил и родимой матушки, видать, не узнавал, может, видел Сошнина в форме — милицейская же форма шибко меняет человека и отношение к нему.

Лишь краткое замешательство потревожило налитый злобой взгляд футболиста, так и не простившего человечеству за то, что «Локомотив» вышибли в «перволижники», на окраину Москвы, в Черкизово, где, несмотря на уютный стадиончик, бывает болельщиков от одной тысячи и до двухсот душ, прячущихся с пивкой на просторных трибунах, отсюда тебе и навар, и наградные, и слава, и почет. Да еще это неблагодарное в футболе ремесло — «защитник»! Из лексикона лагерных языкотворцев ему скорее подходило: стопор-стопорило, кайло-рубило, секач, колун, обух, но лучше всего — пехальщик, который не пускал к воротам честных, смелых ребят — нападающих, бил их бутсой в кость, стягивал с них трусы и майку, валил наземь, получая лютое удовольствие от вопля поверженного «противника».

— Да-да! — поторопил футболист-пехальщик, косым, грузным взглядом давя «противника». — Не лезь в офсайд! Не то получишь гол в рыло!

— Может, его на этом модном галстуке повесить? — посоветовался с собутыльниками «кавалер» и, зацепив пальцем, брезгливо выбросил галстук Сошнина наружу, меж съеженных бортов поношенного форменного плаща. На фоне дряхлой лестницы, в посерелой, исцарапанной известке стен дома с обнажившимися лучинками и гвоздями, и галстук, и обладатель его выглядели нелепо, так смотрелся бы здесь, в трудовом этом жилище, золотой канделябр из роскошного Петродворца.

— А может, не надо, парни? — запихивая лаковый галстук обратно под плащ пальцами, начавшими дрожать, произнес Сошнин все еще сдержанным, даже чуть просящим голосом.

— Чего не надо?

— Куражиться. — Сошнин увидел, как, отметая лохмами обивки сор, пыль и окурки, приоткрылась справа по спуску лестницы дверь, в нее высунулся круглый нос и засветился круглый глаз бабки Тутышихи. Сошнин вытаращил глаза, и бабка поспешно прикрыла дверь.

— Чего ты сказал? Чего ты сказал? — Футболист-пехальщик, распаляясь от праведного гнева, двинулся вверх по лестнице. — Пеночник! Офсайдник! Я те...

Недавний зэк все плыл в улыбке, но уже расторможенной, с поводка спущенной, сожалеюще качая головой: «Сам виноват. Чего тебе стоило попросить прощенья?» Одной рукой он перебирал по барьеру, тащась за футболистом, почти его заслонившим, другой ловил язычок у нагрудного замочка, чтоб вынуть ножик.

«Откуда это в них? Откуда? Ведь все трое вроде из нашего поселка? Из трудовых семей. Все трое ходили в садик и пели: „С голубого ручейка начинается река, ну, а дружба начинается с улыбки...“. В школе: „Счастье — это радостный полет! Счастье — это дружеский привет... Счастье...“ В вузе или в ПТУ:

«Друг всегда уступить готов место в шлюпке и круг...» Втроем на одного, в общем-то, в добром, в древнем, никогда не знавшем войн и набегов русском городе...»

— Стойте, парни! — властно скомандовал Сошнин. Бабка Тутышиха опять высунулась в дверь, и он снова вытаращился на нее. Чуткий к опасностям урка мгновенно обернулся, но ничего пугающего не заметил — бабка успела притворить дверь. Тем временем Леонид повесил сетку на выступ бруса и стал спиной к нему так, чтоб видно было нападающих и внизу, и вверху.

— Ах вы, добры молодцы! Трое на одного! Да еще на хромого! Былинные храбрецы! Илья Муромец, Микула Селянинович да Алеша Попович... По-былинному и силу расходовали бы.

— Как это?

— На работе.

— На какой?

— Тротуары чистили бы, землю копали...

— Издеваешься, гад! — взревел модник и бросился сверху на жертву лохматым зверем. Сошнин чуть прогнулся и перебросил парня через себя с таким расчетом, чтобы он смел с лестницы собутыльников, но тот уронил лишь рахитного от рождения урку. Футболист устоял на ногах, однако был ошеломлен. Не давая гулякам опомниться, Леонид прыжком миновал футболиста, двумя ударами свалил модника на грязный пол, отбросил урку к батарее, уже не владея собой: микстуры, уколы, антибиотики, разные всякие идиотики, изматывающие дежурства, погони, схватки, ночное литтворчество сказались, раны сказались, чужая, в него влитая кровь сказалась, Сыроквасова эта...

Задавленно хрипя, он вогнал кулаками футболиста под лестницу, размазывая его по стене.

— Вступайтесь за друга, подонки! Вступайтесь за друга!

— Какой он нам друг! Какой друг! — прячась за спину урки, твердил кавалер и, что-то вспомнив, толкнул урку в спину, по-бараньи заблажив: — Геха, режь! Насмерть режь!

Геха послушно сунул руку за пазуху, но вынуть нож ему Сошнин не дал: коротким ударом в сплетение вышиб из него дых и, когда урка, охнув, согнулся, поддел его встречным, отправив к заплеванному, мутному окну. Урка ударился головой о батарею, запищал что-то, как крашеный праздничный шарик, из которого пошел воздух, и, как шарик же, смялся, усох, свернулся синим комочком на полу.

Футболист не оказывал никакого сопротивления. Бить его было неинтересно, но Сошнин так освирепел, что остановиться уже не мог, и то ли притворившегося, то ли в самом деле вырубившегося футболиста кинул к батарее, в кучу с уркой, а сам шарил глазами, что-то рыча. Модник ослаб, раскинув руки и вылупив глаза, сидел на полу, вжимался в угол, в дерево, в пазы, забитые грязной, остистой паклей.

— Не буду... не буду... Дяденька! Дя-а-аденька! — визжал кавалер, закрываясь рукавом лопнувшего под мышкой полушубка. Обнажилась сиреневого цвета овчина, от носки или для моды этак крашеная, и овчинка эта, словно бы снятая с игрушечного медвежонка, внезапно заставила Сошнина опомниться. Он продохнул раз, потом еще раз, с удивлением поглядел на распустившего кровавые слюни молодца, вынул его из угла, будто мышонка из мышеловки, за воротник полушубка, подтащил к выходу и пинком вышиб на улицу с деревянного, бороздкой протоптанного крылечка.

— Появись еще раз, поганка!

Долго потом стоял Леонид возле лестницы, не зная, куда себя девать, что делать? Бабка Тутышиха снова приоткрыла дверь:

— Давно бы так! А то ходют...

— Тебя тут только и не хватало!

Провал, затмение — все же болен он еще и слаб. Нервами. Смятение в душе, неустройство, и срамцы эти еще на рожон лезут...

Вспомнив про сетку, Леонид вышел на лестницу. Сетка висела на месте. Перегнувшись, заглянул вниз. Под батареей темнела лужа воды, может, и крови, блестело что-то, догадался — нож. Спустился, подобрал тупой, под кинжал излаженный тесак, которым бабушка или кто еще из старших родичей урки щепали лучину, рубили проволоку — настоящий финарь урка не успел еще выточить или тайком купить.

Возвратившись в квартиру, нашел заделье — позвонил в железнодорожное отделение милиции. Дежурил Федя Лебеда, сокурсник по спецшколе и напарник по работе, бывшей работе.

— Федя, я тут дрался. Одному герою башку об батарею расколол. Если че, не искали чтоб. Злодей — я.

— Ты с ума сошел?!

— Их надо было побить, Федя.

— Надо... надо... Как не надо? Да за них, за поганцев, затаскают.

Сошнин повесил трубку. Посмотрел на руки. Руки все еще дрожали. Козонки сбиты. Стал мыть руки под краном и ровно бы задремал над раковиной. Чувство усталости, безысходной тоски навалилось на него — с ним всегда так, с детства: при обиде, несправедливости, после вспышки ярости, душевного потрясения, не боль, не возмущение, а пронзительная, все подавляющая тоска овладевала им. Все же по природе своей он мямля, да еще бабами воспитанный. Ему бы не в милиции трудиться, а, как матери и тетке, в конторе сидеть, квитанции подшивать и накладные выписывать, если уж в милиции, то на месте дяди Паши — территорию мести.

А кто рожден для милиции, для воинского дела? Не будь зла в миру и людей, его производящих, ни те, ни другие не понадобились бы. Веки вечные вся милиция, полиция, таможенники и прочая, прочая существуют человеческим недоразумением. По здравому разуму уже давно на земле не должно быть ни оружия, ни военных людей, ни насилия. Наличие их уже

лишено всякого здравого смысла. А между тем чудовищное оружие достигло катастрофического количества, и военная людь во всем мире не убывает, а прибывает, но ведь предназначение тех, что надели военный мундир, было, как и у всех людей, пахать, сеять, жать, созидать. Однако выродок ворует, убивает, мухлюет, и против зла поворачивается сила, которую доброй тоже не назовешь, потому как добрая сила — только созидающая. Та, что не сеет и не жнет, но тоже хлебушек жует, да еще и с маслом, да еще и преступников кормит, охраняет, чтоб их не украли, да еще и книжечки пишет — давно потеряла право называться силой созидательной, как и культура, ее обслуживающая. Сколько книг, фильмов, пьес о преступниках, о борьбе с преступностью, о гулящих бабах и мужиках, злачных местах, тюрьмах, каторгах, дерзких побегах, ловких убийствах... Есть, правда, книга с пророческим названием: «Преступление и наказание». Преступление против мира и добра совершается давно, наказание уже не за горами, никакой милиции его не упредить, всем атомщикам руки не скрутить, в кутузку не пересадить, всех злодеев «не переброешь!». Их много, и они — сила, хорошо защищенная. Беззаконие и закон для некоторых мудрецов размыли дамбу, воссоединились и хлынули единой волной на ошеломленных людей, растерянно и обреченно ждущих своей участи.

Говорят, понять — значит, простить. Но как и кого понять? Кому и чего прощать? Настоящие преступники — не крыночные блудни, не двурушники, что лебезят перед «бугром», кусочничают, считая себя невинно осужденными, тянутся и трясутся перед конвоиром, а ночами точат нож, делают из полиэтиленового мешка насос и, выменяв за пайку старую иглу, вгоняют в себя всякую дурманящую дрянь, курят коноплю до того, чтоб помутился разум, — нет, не они, а зэк в переходном возрасте, которого видел «на торфе» Сошнин, стронул его с места своей моралью и жизненной программою. Подтянутый, с силенкой в руках и в характере — «вор в законе», «честно» достукивающий срок, что по выходе на свободу тут же приступит к своим основным обязанностям: подламывать магазины, чистить склады и квартиры, завяжется «интересное дело» — косануть выручку, ограбить инкассатора; обобрать богатого фрайера — кто-кто, а вор безработицы не ведает, так вот тот ворюга открыто издевался над журналисткой из назидательно-воспитательного журнала, которую сопровождал «на торф» Сошнин. Словно с луны свалившись, она всему удивлялась и верила особенно восторженно в перевоспитавшихся, осознавших свою вину, устремленных к стерильно чистой и честной будущей жизни. С ними она беседовала «по душам».

— Вот вы, — обратилась она к деловито спокойному, цену себе знающему зэку, — вот вы грабили людей, обворовывали квартиры... думали ли вы о своих жертвах?

— Начальник! — усмехнулся зэк, обращаясь к Сошнину. — Ты зачем меня обижаешь? Я достоин более тонкого собеседника.

— Но ты ответь, ответь. А то мы посчитаем, что виляешь.

— Я-а?! Виляю! Еще раз обижаешь, начальник. — И с расстановкой, дожидаясь, чтоб журналистка успела записать объяснения, валил откровенность свою. — Если б я умел думать о жертвах, я б был врачом, агрономом, комбайнером, но не вором! Записали? Та-ак. Дарю вам еще одну ценную мысль: если б не было меня и моей работы, им, — показал он на Сошнина, — и им, им, им, — тыкал он пальцем на сторожевые будки, на Дом культуры, на баню, гараж, на весь поселок, — всем им нечего было бы кушать. Им меня надо беречь пуще своего глаза, молиться, чтоб воровать не бросил...

С этим все ясно. Этот весь на виду. Его будут перевоспитывать, и он сделает вид, что перевоспитался, но вот как понять пэтэушников, которые недавно разгромили в Вейске приготовленный к сдаче жилой дом? Сами на нем практику проходили, работали, и сами свой труд уничтожили. В Англии, читал Сошнин, громят уже целый город! Неподалеку от задымленного, промышленного Бирмингема был построен город-спутник, в котором легче дышать и жить. И вот его-то громят жители, и кабы только молодые! На вопрос: зачем они это делают? — следует один и тот же ответ: «Не знаю».

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Сошнин много и жадно читал, без разбора и системы, в школе, затем дошел до того, чего в школах «не проходили», до «Экклезиаста» дошел и, — о, ужас! Если бы узнал замполит областного управления внутренних дел — научился читать по-немецкому, добрался до Ницше и еще раз убедился, что, отрицая кого-либо и что-либо, тем более крупного философа, да еще и превосходного поэта, надо непременно его знать и только тогда отрицать или бороться с его идеологией и учением, не вслепую бороться — осязаемо, доказательно. Ведь как говорил русский ученый: «Искать что-либо, хоть теорию относительности, хоть грибов, искать, не пробуя, нельзя». А Ницше-то как раз, может, и грубо, но прямо в глаза лепил правду о природе человеческого зла. Ницше и Достоевский почти достали до гнилой утробы человечишка, до того места, где преет, зреет, набирается вони и отращивает клыки спрятавшийся под покровом тонкой человеческой кожи и модных одежд самый жуткий, сам себя пожирающий зверь. А на Руси Великой зверь в человеческом облике бывает не просто зверем, но звериной, и рождается он чаще всего покорностью, безответственностью, безалаберностью, желанием избранных, точнее, самих себя зачисливших в избранные, жить лучше, сытей ближних своих, выделиться среди них, выщелкнуться, но чаще всего — жить, будто вниз по речке плыть.

Месяц назад, в ноябрьскую уж мокропогодь, привезли на кладбище покойника. Дома, как водится,

детки и родичи поплакали об усопшем, выпили крепко — от жалости, на кладбище добавили — сыро, холодно, горько. Пять порожних бутылок было потом обнаружено в могиле. И две полные, с бормотухой, — новая ныне, куражливая мода среди высокооплачиваемых трудяг появилась: с форсом, богатенько не только свободное время проводить, но и хоронить — над могилой жечь денежки, желательно пачку, швырять вослед уходящему бутылку с вином — авось похмелиться горемыке на том свете захочется. Бутылок-то скорбящие детки набросали в яму, но вот родителя опустить в земельку забыли. Крышку от гроба спустили, зарыли, забросали скорбную щель в земле, бугорок над нею оформили, кто-то из деток даже повалялся на грязном холмике, поголосил. Навалили пихтовые и жестяные венки, поставили временную пирамидку и поспешили на поминки.

Несколько дней, сколько — никто не помнил, лежал сирота-покойник в бумажных цветочках, в новом костюме, в святом венце на лбу, с зажатым в синих пальцах новеньким платочком. Измыло бедолагу дождем, полную домовину воды нахлестало. Уж когда вороны, рассевшись па дерева вокруг домовины, начали целиться — с какого места начинать сироту, крича при этом караул, кладбищенский сторож опытным нюхом и слухом уловил неладное.

Это вот что? Все тот же, в умиление всех ввергающий, пространственный русский характер? Или недоразумéние, излом природы, нездоровое, негативное явление? Отчего тогда молчали об этом? Почему не от своих учителей, а у Ницше, Достоевского и прочих, давно опочивших товарищей, да и то почти тайком, надо узнавать о природе зла? В школе цветочки по лепесточкам разбирали, пестики, тычинки, кто чего и как опыляет, постигали, на экскурсиях бабочек истребляли, черемухи ломали и нюхали, девушкам песни пели, стихи читали. А он, мошенник, вор, бандит, насильник, садист, где-то вблизи, в чьем-то животе или в каком другом темном месте затаившись, сидел, терпеливо ждал своего часа, явившись на свет, пососал мамкиного теплого молока, поопрастывался в пеленки, походил в детсад, окончил школу, институт, университет, стал ученым, инженером, строителем, рабочим. Но все это в нем было не главное, поверху все. Под нейлоновой рубахой и цветными трусиками, под аттестатом зрелости, под членским билетом, под бумагами, документами, родительскими и педагогическими наставлениями, под нормами морали ждало и готовилось к действию зло.

И однажды отворилась вьюшка в душной трубе, вылетел из черной сажи на метле веселой бабой-ягой или юрким бесом диавол в человеческом облике и принялся горами ворочать. Имай его теперь милиция, беса-то, — созрел он для преступлений и борьбы с добрыми людьми, вяжи, отымай у него водку, нож и волю вольную, а он уж по небу на метле мчится, чего хочет, то и вытворяет. Ты, если даже в милиции служишь, весь правилами и параграфами опутан, на пуговицы застегнут, стянут, ограничен в действиях. Руку к козырьку: «Прошу вас! Ваши документы». Он на тебя поток блевотины или нож из-за пазухи — для него ни норм, ни морали — он сам себе подарил свободу действий, сам себе мораль сострoил и даже про себя хвастливо-слезливые песни сочинил: «О-пя-ать по пя-а-а-атни-цам па-айдут свида-а-ания, тюрь-ма Таганская — р-ря-адимай до-о-ом...»

В Японии, читал Сошнин, полицейские сперва свалят бушующего пьяного человека, наручники на него наденут, после уж толковище с ним разводят. Да город-то Вейск находится совсем в другом конце Земли, в Японии солнце всходит, в Вейской стороне заходит, там сегодня плюс восемнадцать, зимние овощи на грядках зеленеют, здесь минус два и дождище льет, вроде бы целый век не переставая.

Сошнин помочил голову под краном, тряхнул мокром во все стороны — некому запрещать мокретью брызгать — тоже полная свобода! Закрыл кран, поставил кастрюлю с курицей на плиту, пригладил себя руками по голове, будто пожалел, вытянулся на диване, уставился в потолок. Тоска не отпускала. И боль терзала плечо, ногу. «Могли ведь и поуродовать, добить, засунуть под лестницу... Такие все могут...»

Патрулировали Сошнин с Федей Лебедой по городу, и бог дал угонщика. Пьяный, как потом выяснилось, только что с Крайнего Севера прибывший с толстой денежной сумой «орел» нажрался с радости, подвигов захотелось — и увел самосвал. Возле вокзала, на вираже вокруг клумбы, будь она неладна — на площади срубили тополя, по новой моде закруглили клумбу, воткнули в центре пяток ливанских елей, навалили бурых булыжин, посадили цветочки, и сколько уж из-за нее, из-за этой, вейскими дизайнерами созданной, эстетики народу пострадало: не удержал машину угонщик, зацепил остановку, двух человек изувечил, одного об будку убил и, ошалев, запаниковал, ослеп, помчался по центральной улице, на светофоры, в мясо разбил на перекрестке молодую мать с ребенком.

Угонщика преследовали всей милицией, общественным транспортом, «отжимали» от центра города на боковые улицы, в деревянную глушь, надеясь, что, может, врежется в какой забор. На хвосте угонщика висели Сошнин и Федя Лебеда, загнали было дикую машину во двор, угонщик заметался по песочному квадрату, в щепу разнес детскую площадку — хорошо, детей не было в тот час во дворе. Но уже на выезде сшиб двух под руку гулявших старушек. Будто бабочки-боярышницы, взлетели дряхлые старушки в воздух и сложили легкие крылышки на тротуаре.

Сошнин — старший по патрулю — решил застрелить преступника.

Легко сказать — застрелить! Но как это трудно сделать. Стрелять-то ведь надо в живого человека. Мы запросто произносим, по любому случаю: «Так бы и убил его или ее...» Поди вот и убей на деле-то.

В городе так и не решились стрелять в преступника — народ кругом. Выгнали самосвал за город, все

время крича в мегафон: «Граждане, опасность! Граждане! За рулем преступник! Граждане...»

Выскочили на холм, миновали последнюю городскую колонку. Приближалось новое загородное кладбище. Глянули — о, ужас! Возле кладбища сразу четыре похоронные процессии, и в одной процессии черно народу — какую-то местную знаменитость провожают. За кладбищем, в пяти километрах, — крупная строительная площадка, что мог здесь наделать угонщик — подумать страшно. А он совсем обалдел от скорости, жал на загородных просторах за сто километров.

— Стреляй! Стреляй.

Федя Лебеда сидел в люльке мотоцикла, руки у него свободны, да и лучший он стрелок в отделении. Послушно вынув пистолет из кобуры, Федя Лебеда оттянул предохранитель и, словно не поняв, в кого велено стрелять, всадил одну, другую, третью пули в колеса самосвала. Резина задымилась. Машина заприхрамывала, забренчала. Сошнин, закусив губу, надавил до отказа на газ мотоцикла.

Они сближались с машиной. Обошли ее. Федя Лебеда поднял пистолет, но тут же в бессилии опустил руку.

— Останови-и-и-ись! — кричал он. — Остановись, вражина! У новостройки загородят дорогу — там пост!..

По губам угадал Сошнин почти как молитву, творимую напарником, в последней надежде на бескровное завершение дела.

— А кладбище?! — по губам же угадал и Федя Лебеда ответ Сошнина.

Побелев и в самом деле что писчая бумага, не испорченная графоманами, будто тяжелую гирю, поднимал Федя Лебеда привычный пистолет. Губы шлепали, вытряхивали с мокром:

— Попробовать... Попробовать...

— Некогда! — Сошнин яростно пошел на обгон самосвала.

Угонщик не пустил их по ходу слева. Резким качком бросив мотоцикл в сторону, почти падая, пошли справа. Поравнявшись с кабиной машины, понимая всю безнадежность слов, все равно оба разом заклинали, забыв про мегафон:

— Остановитесь! Остановитесь! Будем стрелять...

Грохочущая колымага ринулась на них, ударила мотоцикл железной подножкой. Сошнин был водителем-асом, но что-то произошло с ним необъяснимое — он ловил и не мог поймать педаль мотоцикла левой ногой. В ушах занялся звон, небо и земля начали багроветь, впереди забегали и куда-то, за какой-то край посыпались люди из похоронных процессий.

— Да стреляй же!

Двумя выстрелами Федя Лебеда убил преступника. Машина с грохотом промчалась еще какое-то расстояние на продырявленных колесах и сунулась носом в кювет. Уже падая с сиденья мотоцикла или вместе с мотоциклом, Сошнин успел увидеть шарикоподшипником выкатившийся из затылка, чуть обросшего, упрямо-тупого затылка кругляшок, еще кругляшок, быстрей, чаще, будто с конвейера покатились, вытянулись в красную нитку, шея, плечи, новая джинсовая куртка, вся в карманах, чем-то туго набитых, быть может, письмами матери, может, и любимой девушки. Темнел еще значок на куртке, яркий значок за спасение людей на пожаре.

Куртка, и карманы, и упавшая на спинку сиденья упрямая голова намокали, тяжелели, окрашивались одним цветом.

Сошнина скрутило судорогой на земле, красное мокро подступило к горлу. Скореженный, смятый, он лежал затем в машине «скорой помощи», рядом с застреленным угонщиком, и слышал, как под носилками по железному полу плещется, скоблит уши их вместе слившаяся кровь.

Опытнейший хирург железнодорожной больницы, уроженец родного железнодорожного поселка, упорно учившийся на тройки при пятерочных способностях, Гришуха Перетягин успел когда-то полностью оформиться в доктора, был сед, медлительно-спокоен и, как показалось Сошнину, несколько и поддатый.

— Нога висит на одной коже и на жиле. Ампутировать или спасать? Как прикажете, гражданин начальник?

— Попытайся, доктор, — взмолился Сошнин и заискивающе добавил: — За мной не пропадет, Гришуха. — Разрешая недоуменный взгляд доктора, еще добавил: — Я ж тоже наш брат-железнодорожник... тети Линии племяш.

— А-а, — оживился доктор. — Лешка, что ли? А я гляжу, понимашь... Ну, коли с железнодорожного, да еще наших, вятских, кровей, — и одной жилы достаточно... А я смотрю, вроде как знакомое лицо, понимашь... — наговаривал Гришуха и делал какие-то знаки сестре и няне. — Дак не пропадет за тобой, говоришь? Заметешь и домой не отпустишь, хе-хе-хе...

Отчего-то Гришуха-хирург не дал Сошнину наркоз. Налили полный стакан чистого спирта. Доктор подождал, когда пациент сделается мертвецки пьян, поболтал еще с ним о том, о сем и приступил к делу. Во время операции Сошнину поднесли еще мензурочку. Он пил спирт, будто воду, очень холодную, родниковую. С непривычки сжег слизистую оболочку, долго потом сипел горлом.

Гришуха Перетягин, довольный собой и профессиональным мастерством, свойски посмеивался на обходах:

— Я тя, как на фронте, латал. Бах-трах по горячему. И приросло! При-про-сло-о-о, понимашь! Еще на нас, на вятских, наркоз тратить, кровь переливать. Наркоз вредный, крови в запасе мало, нас, вятских, много. Слушай, ты че, и правда чистый спирт не пил? Н-н-ну, понимашь! Тоже мне, миленький легавенький, красивый, кучерявенький! Я б таких хлюпиков гнал в шею из органов.

Расхаживался Сошнин долго. От одиночества и тоски много читал, еще плотнее налег на немецкий язык, начал марать бумагу чернилами. Сперва писал

объяснительные, много и длинно, потом заготовил краткую, похожую на рапорт, бумагу и отделывался ею. Особенно тяжелое объяснение было со следователем Пестеревым.

Следователь Антон Пестерев дорожил честью работника правосудия и, казалось ему, все и всех знал, видел насквозь.

— Как вы, милиционер, человек уже зрелый, могли стрелять в молодяжку, — прокалывая Сошнина узким лезвием глаз, явно подражая какому-то несокрушимому, железному кумиру, цедил сквозь зубы Пестерев. Федя Лебеда исхитрился усмыгнуть от объяснений, — старший по патрулю кто был? Сошнин. Вот и отчитывайся, майся. Леонид сперва сдерживался, пытался что-то объяснить Пестереву, потом вскипел:

— Ничего себе, молодяжка! Да за одну молодую мать с ребенком!.. — Леонид прикрыл глаза, отвернулся. — Растерзанные... кровь... багровая грязь. Я в любого, но с особым удовольствием в тебя всажу целую обойму!

— Псих! — сорвался следователь. — Ты где находишься? Как ты в милицию попал?

— Потому и псих, что ты блаженно живешь! — Сохранилось, все же сохранилось мальчишество в Сошнине. Он похлопал Антона Пестерева по плечу. — Это тебе не мама родная! От этого покойника, землячок, полсоткой не откупишься! — Да с тем и ушел, озадачив борца за справедливость до того, что он звонил Сошнину, домогаясь, что за намеки?

Родом из деревни Тугожилино, Пестерев забыл, что всего в трех верстах от его родной деревни, в сельце Полевка, жила теща Сошнина, Евстолия Сергеевна Чащина, и она-то уж воистину знала все и про всех, может, не во вселенском, даже и не в областном масштабе, но на хайловскую округу ее знания распространялись, и от тещи Сошнину сделалось известно, что в Тугожилино четыре года назад умерла Пестериха. Все дети съехались на похороны, даже и невестки, и зятья съехались, и дальние родственники пришли-приехали, но младшенький, самый любимый, прислал переводом пятьдесят рублей на похороны и в длинной телеграмме выразил соболезнование, сообщив, что очень занят, на самом же деле только что вернулся с курорта Белокуриха и боялся, чтобы радон, который он принимал, не пропал бесполезно, не подшалили бы нервы от переживаний, да и с «черной» деревенской родней знаться не хотелось. Родня, воистину темная, взяла и вернула ему пятьдесят рублей, да еще и с деревенской, грубой прямотой приписала: «Подавися, паскуда и страмец, своими деньгами».

Вернувшись из больницы на костылях в пустую квартиру, Сошнин залег на диване и пожалел, что не выучился пить — самое бы время.

Наведывалась тетя Граня, мыла, прибиралась, варила, ворчала на него, что мало двигается.

Пересилился, начал снова читать запойно, к бумаге потянуло — разошелся на объяснительных-то! В этой непонятной еще, но увлекательной работе забылся. Он и раньше, еще в школе, писчебумажным делом занимался — обыкновенный, в общем-то, даже типичный путь современного молодого литератора — школьная стенгазета, многотиражка в спецшколе, заметки, иногда и в «художественной» форме — в областных газетах, милицейский, затем и другие «тонкие» журналы, на «толстые» пока не тянул и сам это, слава богу, сознавал.

«Может, мне к Паше поехать? У Паши хорошо!» — вяло думал Сошнин, заранее зная, что ему никуда не уехать. Шевелиться, за почтой вниз сходить — и на то сил нет, но главное — желания...

Паша — человек, способный ублаготворить, умиротворить и накормить весь мир. Это про нее Пушкин сочинил: «Кабы я была царица, — говорит одна девица, — то на весь крещеный мир приготовила б я пир...»

После первого боевого крещения и крена семейного корабля набок, Сошнин от смятения, что ли, от пустопорожности ли времяпрепровождения решил пополнить образование и затесался на заочное отделение филфака местного пединститута, с уклоном в немецкую литературу, и маялся вместе с десятком местных вейчат, сравнивая переводы Лермонтова с гениальными первоисточниками, то и дело натыкаясь на искомое, то есть на разночтения, — Михаил Юрьевич, по мнению вейских мыслителей, шибко портил немецкую культуру. В пединституте Сошнин впервые услышал слово «целевик», смысл которого граждане нашей страны, исключая разумные головы из Академии педагогических наук, до конца так и не постигли. Меж тем «целевик» — слово, совершенно точно обозначающее смысл предмета — это абитуриент, присланный в высшее учебное заведение и принятый на льготных основаниях с целью и обязательством вернуться в родную сельскую местность на работу. О том, сколько и как возвращается в родную местность «целевиков», особо «целевичек», знает всезнающая статистика, да молчит в смущении.

На стадиончике, примыкающем к пединституту, пробитому там и сям зелеными прутьями кленовых побегов, Сошнин играл в городки. На месте стадиона был когда-то патриарший пруд, с карасями, кувшинками, лилиями и могучими деревами вокруг. Борясь с мракобесием сановных, исторически себя изживших церковников, деревья свалили, воду вместе с карасями засыпали шлаком и землей, вынутой из-под фундамента новостроек, но оно же, проклятое прошлое, прилипчиво, живуче, оно из-под земли, из-под притоптанных и прикатанных недр стадиона, из пней, плотно, глубоко и далеко, давало о себе знать, нет-нет, пусть и украдчиво, втихомолку, посылало в ясноглазую современность вестников весны, напоминало о себе живучей ветвью тополя или клена, меж которых, по шлаком присыпанной дорожке, остро выставив локти, бегали будущие гармонично развитые педагоги, тренируя гибкость тела, крепость мышц и быстроту мысли.

Поскольку Сошнин охромел, его определили соревноваться в наземных играх, и он азартно швырял струганые палки, вышибая то «бабушку в окошке»,

то «змею», то «домик», и однажды увидел в уголке стадиона мужицкого телосложения деваху с непритязательно рубленым, но румяным и здоровым лицом, на которое спадали коротко стриженные волосы толщины и цвета ржаной соломы. Девка собирала волосы на затылок старомодной костяной гребенкой и одновременно стягивала с себя лыжные штаны, рвала пуговицы на кофте, нетерпеливо постанывая и сопя расширенными ноздрями. На ходу подтянув трусы футбольного покроя, со свистом вобрав в себя побольше воздуху, девка вышла на беговую дорожку и замерла в ожидании старта. Бюстгальтер, отчеканенно обозначившийся сквозь распертую телом майку, был завязан на спине морским узлом, потому как пластиковая застежка не выдержала напора скрытых сил, лопнула и болталась без нужды. Ясное дело, только крепким узлом и можно было сдержать силы в чугунных цилиндрах грудей с ввинченными в середку трехдюймовыми гайками. Те гайки, поди-ка, не раз и не два отвинчивали передовые сельские механизаторы, но даже резьбу сорвать не осилились, не укротили мощь могучего, все горячее распаляющегося перед бегом механизма.

— И-и-ех, глистогоны-интеллигенты! — рявкнула девка, когда поравнялись с ней трусцой трюхающие, подзапыхавшиеся молодые спортсмены, бледно-серые от табака, ночных свиданий и жидкой студенческой пищи. Грудь у девки закултыхалась, зад завращался тракторным маховиком, ноги, обутые в кеды сорок второго размера, делали саженные хватки, лицо ее было вдохновенно, воинственно, вся мелкота, перебирающая ногами по земле, по захороненному патриарщему пруду, разлетелась на стороны мошкой и осталась позади...

Не зная, что такое финиш, девка промчалась мимо него и бог весть куда бы убежала, если б на пути ее не оказался забор стадиона. Вот что такое была Паша! Бог и фамилию ей определил в соответствии с матерней — Силакова. Какой-то, тренированный спортсмен, не иначе мастер спорта, поверженный в прах, оправдывался, протирая очки: «Да я бы обошел эту стихийную бабу, но очки запотели». Паша Силакова, снисходительно похлопав по плечу знатного спортсмена, предложила: «Может, еще попробуем?»

С того и родилась знаменитая институтская песня: «Я б и кашу сварил, я б цветы подарил, я б любил тебя смертно и верно». Припев: «Да очки запотели». «Я бы сдал сопромат, поступил на физмат. Я бы взял все высоты науки. Да очки запотели...»

Дела у «целевички» Паши Силаковой в институте шли не так бойко, как на стадионе. Она и в своей-то починковской школе никого по наукам не обгоняла, все больше догоняла. Работать бы ей на колхозной ферме, быть ударницей труда, почитаемым человеком, многодетной матерью, да ее родная мать, молодость, жизнь, красоту и силу изработавшая на колхозной ферме, узнав про дополнительный набор в пединститут, сказала: «Поезжай, учись на ученую, много денег получать станешь, в люди выйдешь, не будешь, как я, веки вечные в назьме плюхаться».

Очень и очень хотела Паша Силакова стать ученой, не спала ночами, тупела от наук и городской культуры, смекнула своим деревенским, многоопытным мужицким умом, как достичь цели: возила в общежитие картошку, молоко, мясо из деревни, убиралась в комнате, стирала аристократкам с филфака бельишко, гладила, и те, курящие сигареты с долгими мундштуками, понимающие толк в коньяках, коктейлях и сексе, наизусть знающие названия иностранных наклеек на заду импортных джинсов, из которых самая ценная была «монтана», насмехались над Пашей, помыкали ею. Мадам Пестерева, читающая в институте классическую русскую литературу, приспособила Пашу в домработницы.

Супруги Пестеревы домашними делами не занимались, не пачкали рук, жили по правилам и запросам высокоинтеллектуальных личностей: баловались теннисом, купались в прорубях, ездили на коллективные охоты, оба лихо водили личную «Волгу», небрежно вертя руль одной рукой и выставив локоть в окошко. В «Волге» чехлы из какого-то мохнатого существа — из меха ламы, объясняли Пестеревы, за задним сиденьем, как у богатого кавказца, катался пестрый мяч; перед передним стеклом, опять же, как положено состоятельным, понимающим культуру особам, подвешена экзотическая широкоротая обезьянка в красных трусах; по стеклу ярко написано: «Эспанио-уэрто-командорос».

Женившись еще в студенческие годы на дочери директора вейского льнокомбината, Антон Пестерев имел на троих четырехкомнатную квартиру, содержал местный «салон» и собирал в нем по вечерам «высший свет» города Вейска. Одна из комнат супругами Пестеревыми была превращена в некую разновидность гостиной, игорную залу и дешевенький музей, на стенах которого висели абстрактные полотна, гравюрки, несколько дорогих полуфривольных чеканок с русалками, пара прялок, пара лаптей, репродукций с пикантных полотен Сальвадора Дали. Вечерами в зале чуть приглушенно, интимно звучали по японской радиозаписывающей системе модные записи «из оттудова», ну и наши, необходимые в модном салоне, модные поэты: Высоцкий, Окуджава, Новелла Матвеева; на инкрустированных полочках: Евтушенко, Вознесенский, Ахмадулина, Аполлинер, Дос Пассос, Хименес, Ли Бо, далее Пикуль, Сименон и Апдайк, меж них Библия дореволюционного издания, молитвенник с золотой застежкой, «Слово о полку Игореве» в подарочном издании и нарядный словарь Даля в четырех томах.

Мадам Пестерева развлекала своих гостей рассказами о Паше Силаковой и устраивала потеху в студенческих аудиториях:

— Ну-с, молодой человек, — старомодно обращалась она к студентке, словно к существу мужского пола, поставив ее перед публикой по команде «смирно». — Что вы можете рассказать о роковых заблуждениях Николая Васильевича Гоголя?

И скорый, радостный, изготовленный по подсказкам сокурсниц, следовал ответ Паши Силаковой:

— Мистические настроения Гоголя, навеянные ему отцами церкви с их мрачной и отсталой философией,